

Надежда Кожевникова

Елена Прекрасная

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
К58

К58 **Кожевникова Н.**
Елена Прекрасная / Надежда Кожевникова – М.: Книга по Требованию, 2013. – 96 с.

ISBN 978-5-518-07533-7

Идея вернуться и вернуть читателям давнюю мою повесть «Елена Прекрасная», опубликованную в «Новом мире» в 1983 году, возникла случайно. Она вышла и в названной одноименно моей книжке в издательстве «Советский писатель», переводилась и в братских, так тогда называлось, странах, по ее мотивам делались инсценировки, но все это, я так полагаю, осталось в прошлом. Честно сказать, меня удивляло, что не только люди из моего близкого окружения, но и те, кого не знаю, никогда не встречалась, спрашивают: а где можно «Елену Прекрасную» сейчас прочесть? Да нигде. Интернета в то время не существовало, электронная версия, понятно, отсутствует, а тираж книжки, теперь фантастический, в сто тысяч экземпляров, был давным-давно распродан.

ISBN 978-5-518-07533-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Елена Прекрасная

Повесть

ОТ АВТОРА

Идея вернуться и вернуть читателям давнюю мою повесть «Елена Прекрасная», опубликованную в «Новом мире» в 1983 году, возникла случайно. Она вышла и в названной одноименно моей книжке в издательстве «Советский писатель», переводилась и в братских, так тогда называлось, странах, по ее мотивам делались инсценировки, но все это, я так полагаю, осталось в прошлом. Честно сказать, меня удивляло, что не только люди из моего близкого окружения, но и те, кого не знаю, никогда не встречалась, спрашивают: а где можно «Елену Прекрасную» сейчас прочесть? Да нигде. Интернета в то время не существовало, электронная версия, понятно, отсутствует, а тираж книжки, теперь фантастический, в сто тысяч экземпляров, был давным-давно распродан.

Но мне самой стало любопытно, что же способствовало массовой популярности текста молодого, мне едва тридцать минуло, автора? Хотя рецензент «Нового мира», умная женщина, известный критик, диагноз поставила точный: повесть Надежды Кожевниковой «Елена Прекрасная» обречена на успех. «Успех» - это вроде как хорошо, но почему же «обречена»? Что имела в виду умница-рецензент, до меня дошло спустя многие годы.

Хотя, несмотря на успех, я тогда уже ощутила обиду за неправильную, считала, оценку мною написанного. «Елена Прекрасная» воспринялась как обнажение подноготного знаменитостей в разных сферах, но в первую очередь кумиров театра «Современник» - вот что оказалось самым лакомым. Между тем, меня, автора, занимало совсем другое: не столько воплощение всеми узнаваемого, угадываемого, сколько попытка осмыслить характеры, судьбы, и мне лично близкие, и наблюдаемые издали, допуская вольное сочинительство в эпизодах, где свидетелем ну никак быть не могла.

Удивило, что мои домыслы сочлись за правду не только

читателями, но и прототипами моей повести. Многие были в гневе, как ни странно, тоже уверовав, что я разгласила нечто тайное, дискретное, оскорбительное для них, хотя ничего нового, по фактам, о чем не знал, как это называется, «ближний круг», я не сообщила и сообщить не могла. Возмутило, верно, как я общеизвестные осмыслила, вывела фигуры, характеристики, со своим взглядом, со своей точки зрения, дистанцируясь, как в литературном жанре положено, от привычного их толкования. Ефремов, его театр «Современник» считались в то время кумирами, недостижимыми для какой-либо критики, особенно в среде либеральной интеллигенции. А я позволила себе низвести с пьедестала якобы святыни. Осмелилась глянуть ну что ли житейски, буднично на то, что уже претендовало на иконописность. Да почему, с какой стати? Просто люди, и грешные, как все.

Олег Николаевич Ефремов, выведенный в моей повести под именем Николая как первый муж моей героини, счел возможным пойти жаловаться на меня в ЦК. Странно несколько, для такого, как он, глашатая свободы, демократии, не погнушавшегося примитивным доносом на, как он выразился, зарвавшуюся девчонку. Я об этом узнала от отца, которому в том же ЦК о визите Ефремова в «коридоры власти» сообщили незамедлительно. Справедливо рассудив, что суровый, такую отец имел репутацию, Кожевников сам с дочкой разберется. Что он и сделал по всем тогда имеющимся правилам.

После бурного объяснения мы с отцом вдрызг разругались, а я, приехав в отпуск в Москву из Женевы, где мой муж работал в Международном Красном Кресте, так ждала нашей с ним встречи, привезла подарки, и совершенно была не готова к такой непримиримой его реакции.

Из Переделкино, ночью, наревевшись, позвонила Радзинскому, прочитавшему мою повесть еще в рукописи, жалобно скуля: не хотела, не предполагала такого шквала негодования. На что Радзинский ответил: не ври, хотела, предполагала и получила соответственно, такой взрыв популярности должен радовать, а ты ноешь.

Но я, правда, никак не представляла, предаваясь блаженству писания, главки за главкой, что своим келейным занятием вызову общественный скандал.

Не утешало, что номер «Нового мира» с «Еленой Прекрасной»

передавался из рук в руки, зачитывался до дыр, от Бюро пропаганды при Союзе писателей на встречи с читателями меня буквально разрывали, и даже отец, усмехаясь, признался, что, гуляя по Переделкино, постоянно слышит, что-де он думает о повести своей дочери? И он, как меня уверял, отвечал: не думаю ничего, не знаю, не читал. Полагаю - врал.

Но до меня доходили мнения тех, кто счел себя в моей повести тоже задетым, и я искренне огорчалась: неужели, за что, почему, и Галя Волчек, подруга моей сестры, осерчала? А ведь не хотела ей-то, мною за яркую даровитость уважаемой, причинить зла. Значит, в самом моем стиле, мышлении, природе заложена как бы жесткая бескомпромиссность, над чем я сама не властна.

Мои неприятности с прототипами, начавшиеся столь громоздно с «Елены Прекрасной», продолжались с фатальной неизбежностью и в дальнейшем. Каждая повесть, рассказ при обнародовании встречались неодобрительно, выражаясь мягко, в моем окружении, где узнавались те и то, что при моей зловредности, так считали, с дьявольской проницательностью обнажалось. А ведь я работала в жанре беллетристики, имен не называла, ситуации вымышляла, и все-таки слышала: ты опасный человек, тебе доверяешь, а ты напишешь, и так напишешь, что ясно - нет для тебя ни дружбы, ни любви.

Мои оправдания, что дружба, любовь для меня существуют, но текст - это нечто другое, там другие законы, в основном отвергались. Я винулась, иной раз меня прощали, но и еще не задетые относились ко мне априорно подозрительно. Как-то моя приятельница, уже здесь, в США, которую я совершенно не собиралась сделать объектом своей «вивисекции», сказала: знаешь, Надя, каждый раз, открывая твою новую книжку, боюсь: а пощадила ли ты меня?

То, что в своих текстах я и к себе самой беспощадна - это совершенно никого не волнует. Между тем, у любого сочинителя, о чем бы он ни писал, всегда присутствует его авторское Я. И когда, спустя годы, от беллетристики я перешла к жанру, определяемому как мемуарное эссе, там у меня остаются те же, что и были, задачи: обнажения себя сквозь других, а других - сквозь себя.

Елена Георгиевна постоянно опаздывала на службу. Прийти вовремя казалось выше ее сил, хотя она очень старалась. Она говорила: «Ну подумать! Оставила в запасе полчаса, все должна была успеть! Прямо рок какой-то меня преследует...»

Ее выслушивали сочувственно. Ее любили. Она не проявляла в работе излишнего рвения, не заводила интриг, была разговорчива и чувствовала себя, казалось, очень уютно в этом женском коллективе. Отправляясь в обеденный перерыв по магазинам, и увидев что-нибудь дефицитное, скажем, свежие огурцы или бананы, покупала на целый отдел. И, хотя по утрам опаздывала, в конце рабочего дня уйти не спешила: все стояли уже в пальто, а она все еще беседовала по телефону.

Она была высокая, статная, с пышными рыжевато-каштановыми волосами, которые свободной гривой спадали до плеч, бюстгальтер носила пятый номер и вообще производила впечатление.

Что называется, эффектная женщина, и нравилась мужчинам, то есть мужчины не успевали подумать, нравится ли она им, как, точно их за ниточку дергали, по команде будто оборачивались ей вслед.

Она душилась терпкими духами, довольно сильно красилась, вдевала в уши длинные серьги, напоминавшие елочные украшения, но даже самая что ни на есть дешевка, на ней смотрелась. Она улыбалась всем подряд загадочно-обольстительно, но выражение ее красивых, с опущенными книзу уголками зеленоватых глаз настораживало: в них было что-то собачье.

Беседуя по телефону, она не старалась говорить тихо, не пользовалась намеками. Ее простодушная открытость оказывалась иной раз на грани то ли бесстыдства, то ли незащитности. О ней знали все: что она трижды была замужем и один из ее мужей стал знаменит, - говорила она многословно и с такой интонацией, точно ждала совета, точно иначе ничего не могла решить.

Такая жажда участливости располагала к ней. Можно сказать, у нее был дар вызывать в людях к себе симпатию. И к ней были снисходительны. Ей многое прощалось. Сотрудницы покрывали ее грешки перед начальством, и начальство делало вид, что верит: «Где Елена Георгиевна? Ах, только что вышла? В машбюро спустилась? Ну хорошо...» А на самом деле она, к примеру, сидела в парикмахерской: на рабочем столе стояла, правда, ее ядовито-зеленая сумка, и сотрудницы указывали на нее начальству как на вещественное доказательство присутствия Елены Георгиевны.

Над своим рабочим местом Елена Георгиевна повесила веселую

картинку, где медвежонок с очень важной миной влезал на трехколесный велосипед, а на столе стояла керамическая вазочка и сплетенная из соломки кошка с задранной хвостом. Деловые бумаги у нее в ящиках были перемешаны с косметикой, с надорванными пачками печенья, с конфетами россыпью. И никогда она не старалась показаться умнее других, хотя была толкова и у нее нередко совета спрашивали, но эти качества она вовсе вроде в себе не ценила, а говорила как бы: я - женщина, женщина, и все.

На вид ей можно было дать лет тридцать пять, хотя на самом деле уже сорок три исполнилось, но она возраста своего вроде не чувствовала, и другие тоже его не замечали.

...На плитке как раз закипал чайник - они каждый раз эту плитку запрятывали, чтобы не видела противопожарная охрана, - у Елены Георгиевны конфеты нашлись, она их выложила на тарелку, и тут зазвонил телефон. Они переглянулись, они всегда так, при каждом звонке, переглядывались, как заговорщицы: кому из них и кто сейчас звонит - это было очень важно!

Трубку сняла самая из них молодая, стажерка Танечка; стараясь скрыть разочарованность, сказала: «Елена Георгиевна, вас...»

Елена Георгиевна, слегка улыбаясь, прижала к уху трубку. Они все внимательно за ней следили: они были коллектив и считали, что глядеть так в их праве. Они ждали события, но в глубине души разуверились, что событие действительно может в такой обстановке произойти.

Елена Георгиевна стояла у телефона молча. Слушала. Они заметили: она оперлась ладонью о стол, точно потеряв равновесие, ища опоры. Они заметили: она улыбнулась растерянно. Сказала: «Погоди. Дай мне...» Но, видно, ее опять перебили. Она сказала: «Хорошо». Она сказала: «Буду». Она не успела сказать никаких завершающих слов - на том конце провода, по видимости, бросили трубку.

Она села. Обвела взглядом своих коллег. Кожа лица ее стала дряблой, серой, пористой, пудра отслоилась, на ресницах комочками застыла тушь - ей можно было дать лет пятьдесят, не меньше.

Она сказала: «Мне надо уйти». Поднялась, взяла свою ядовито-зеленую сумку и вышла. Она вышла, и никто ни слова не проронил. Она накинула на голову платок каким-то старушечьим, скорбным жестом. Запахнула пальто. Улица обдала сыростью. Взглянула нерешительно вслед удаляющемуся такси и пошла в противоположную сторону.

Она спешила, она задыхалась, она боялась опоздать.

Еще переходя улицу, она заметила, что ее поджидают. Бегом - она знала, что не надо бежать, - кинулась к скверу, платок сполз, сбился на плечи. Не отдышавшись, проговорила:

- Здравствуй!

И тут же поняла, как неуместна ее радость. Ее восторг, ее восхищение, дурацкая ее умиленность - ей это швырнули обратно, как сор. И тогда она повторила иначе, глухо:

- Здравствуй, Оксана.

Ей кивнули. Оксана сидела в той же позе, как Елена Георгиевна увидела ее издали: нога на ногу, руки в карманах, капюшон длинного черного пальто откинут, сияют золотом волосы. Узкое бледное лицо ничего не выражает, то есть выражает одну враждебность.

- Я с тобой встретилась по делу, - Оксана проговорила, почти не разжимая губ. - Может, слышала, я замуж выхожу. Папа устраивает свадьбу в «Национале». И вот что хотела спросить: та тахта, ну знаешь, она раньше в моей комнате стояла, на заказ ее делали - может, уступишь? - Усмехнулась. - Если жалко, я, конечно, переживу...

- Не жалко, - Елена Георгиевна не могла отвести от нее взгляда, вбирая, впитывая каждую черточку. Она настолько забылась, что не ощущала униженности - просто глядела.

И Оксана под ее взглядом заерзала. Встала:

- Что ж, простимся. Ты ведь с работы ушла.

- Ничего, не страшно, - Елена Георгиевна в той же забывчивости продолжала сидеть.

Оксана стояла над ней, высокая, тоненькая - прелестная! Елена Георгиевна, не удержавшись, улыбнулась. Оксана нахмурилась и вдруг прокричала:

- Чему ты улыбаешься, чему?!

- Я? - Елена Георгиевна вздрогнула. - Так... погоди, - заспешила, - одну минуту...

- Минута, - Оксана отрезала, - ничего не даст. Никогда ничего не дает одна минута. И уж особенно в нашем с тобой, мама, случае.

Елена Георгиевна машинально кивнула. Зачем она кивнула? Ей было так страшно раздражить дочь! Вот она и кивнула... Она подняла глаза, снизу вверх взглянула - так, наверно, заискивающе получилось, - и тут ее как жаром обдало. Запоздало она возмутилась:

- Ты только за этим меня вызвала? Чтобы еще раз, еще раз...

Оксана скривилась:

- Пошла истерика... С меня - хватит.

Она уходила. И чем дальше, тем пристальнее Елена Георгиевна вглядывалась в ее уменьшающуюся фигуру - до боли, до рези в глазах. Оксана становилась все меньше - вот будто ростом с первоклашку, а вот почти как детсадовская, а вот превратилась совсем в крохотный комочек плоти - и тогда она прижала ее к груди и разрыдалась.

2

Свое детство Елена Георгиевна слабо помнила. То есть не помнила, чтобы была в ее жизни некая безмятежная безоблачная пора, каковой детство обычно и характеризуется, - чтобы ощущала она себя счастливым ребенком, всех любящим и всеми любимым.

Казалось, первое чувство, что она испытала и которое запомнилось, была ревность. Ей исполнилось пять лет, когда родители разошлись: мать ушла к тому, кого полюбила.

Отношения с отцом тогда сразу оборвались, он только присылал алименты. Страсти, видно, настолько были накалены, что о благопристойных отношениях бывшие супруги не могли и думать. Елена - мать и в детстве называла ее так торжественно - получила в новой семье отдельную комнату, о ней заботились, как могли ублажали, но она сразу выказала неблагодарность и вообще многие дурные свойства.

Она не тосковала об отце, она его забыла. Она видела, что мать и отчим живут хорошо и что к ней они внимательны, но откуда-то в ней взялись дикие повадки: глядела исподлобья, молчала, грызла ногти. Мать одевала ее нарядно, а она, отправляясь гулять, нарочно рвала, портила вещи.

Отчим держался с ней ровно, но серые его глаза глядели рассеянно. Он хорошо относился к детям, собакам, кошкам, он их гладил, с ними заговаривал. Кошки мурлыкали, собаки глядели преданно. Елена выставляла колючки и собиралась в комок.

В шесть лет она самостоятельно выучилась читать. Мама была в восторге. «Смотри, Валерий, - говорила, хвастаясь, - Елена уже до Гоголя добралась». Отчим доброжелательно улыбался, покупал ей прекрасно изданные книжки, у нее собственная библиотека собралась. Она потребовала, чтобы дверь в ее комнату изнутри запиралась. Она любила читать допоздна, любила грызть в постели подсоленные черные сухарики. Мама запирается запретила. Врывалась ночью и насильно гасила свет. И сухарики - это ведь только засорять желудок! Мама кричала, и Елена кричала. Отчим, очень спокойный, появлялся в

дверях: «Нина, ну что ты, право...» Вроде он в защиту Елены выступал, но ни Елена, ни, кстати, мама тоже благородное вмешательство его не ценили. Когда он уходил, мама - она всегда была очень порывистая - кидалась Елену обнимать, шепча: «Доченька, доченька моя». Елена гладила мать по спине, а когда, примирившись, они расставались, снова принималась грызть припрятанные сухарики. В школе она испортила отношения с учительницей, указав на допущенную той грамматическую ошибку. Мама, чтобы как-то положение уладить, вступила в родительский комитет. Но на родительских собраниях Елену все равно честили, и мама возвращалась с них пылающая. «Ты же умная, - убеждала она дочь чуть ли не со слезами, - так зачем же, зачем?»

Елена молчала.

У нее была очень красивая мать. То есть, может, даже не столько красивая - великолепная. Сверкающая, улыбчивая, душистая. И умная настолько, что скрывала свой ум. Улыбалась, воркующе что-то нашептывала мужу, и только морщинка между светлых бровей выдавала напряженность, сосредоточенность. Нашепчет - и муж убежден: надо делать именно так, именно то, что жена советует. Елена наблюдала: ух как хитра, как лукава ее мать. Серебристо-пепельные волосы, поднятые вверх от затылка, открывали нежную шею, ушки крохотные, с капельками серег, и умела мать улыбаться застенчиво, как девушка.

Елена наблюдала: мать вставала рано, когда весь дом еще спал, в пестром лифчике, пестрых трусах делала перед зеркалом зарядку, принимала душ - женщина после тридцати должна особенно тщательно следить за собой, - ставила чайник на плиту, готовила завтрак, и когда муж пробуждался, она уже была свежа, бодря. Это была работа, служба, ежедневная, ежечасная, по укреплению брака, семьи. В любви - эх, милая - тоже надо трудиться. Надо нести неусыпный караул. Знать, помнить о тысяче разных деталей. Мужчина, муж, нуждается в терпеливейшей дрессировке. Мужчина чем сложнее, чем серьезней... тем, впрочем, легче найти к нему подход. Главное... ну об этом еще рано говорить, придет время. Елена, укрывшись с головой одеялом, чувствовала приближение: в половине девятого ей надо было в школу уходить. Она не спала, сон рассеялся, но вставать не хотелось: разболтанность - и непростительная! - валяться, уже проснувшись в постели. Безволие - самый тяжкий грех. Лениость - что ж, лениость придется вышибать хоть дубиной.

Мать срывала одеяло. Елена сжималась калачиком. Мать улыбалась: ну-ну... и только морщинка между светлых бровей выдавала ее раздражение.

В пижаме с задранной штаниной, с всклокоченными волосами Елена, жмурясь, натываясь на стены, плелась в ванную. Мимо застекленной двери в кухню, где отчим кофе пил. Сидел за столом в отглаженной рубашке, при галстукке, развернув газету. Секундное скрещение взглядов, мгновенность оценки, глухое, сдавленное осуждение. Елена бормотала «доброе утро», защелкивала за собой в ванную дверь. Пускала воду, струя лилась, впивалась в сверкающую голубоватой эмалью раковину. Зеркало, затуманенное горячим паром, впускало постепенно Еленино лицо: крупный нос, длинный рот, глаза волчонка, горящие непримиримостью.

Она все больше становилась похожей на своего отца, вопившего «убью, убью», гоняясь за матерью по квартире. Он готов был в самом деле ее убить - эту женщину, предавшую его любовь. А в загсе при разводе он плакал: мать говорила об этом кому-то из своих подруг. Зубная паста горечью заполняла рот, белая тонкая струйка стекала по подбородку. Елена стояла, глядя в зеркало, опершись ладонями о раковину. В дверь стучали. Мать рвала дверь: «Ты слышишь? Ты что там делаешь?!».

Елена отворяла, глядела невозмутимо. Отчим стоял в прихожей уже в пальто. «Да иди ты, Валерий, иди», - мать чмокала его в щеку.

Елена с пустым портфелем шла проходными дворами, кратчайшим до школы путем. Медленно-медленно, останавливаясь, заглядывая в чьи-то окна. В школе так, что слышно было на улице, трезвонил звонок. Она выжидала у ограды. И только когда звонок смолкал, срывалась, рысью вбегала в вестибюль, бегом по лестнице, по гулким пустым коридорам.

- Опять? - раздельно произносила учительница.

Елена стояла с опущенной головой, спиной прислонившись к двери. Поднимала взгляд - и класс ждал восторженно.

- Садись,- быстро, с опаской произносила учительница, - садись, Соловьева.

Ей предстояла переэкзаменовка - по физике и химии. Нашли учителя, маленького, с большой, неровно выстриженной головой. Он носил твидовый - твид был дешев - пиджак с подложенными ватными плечами.

В тесной Елениной комнате письменный стол еле уместился; учитель и ученица сидели рядом, близко, как за одной партой. Бледным,

обескровленным как бы пальцем учитель водил по строкам текста, накладное ватное его плечо касалось плеча Елены. Его подбородок, Елена всматривалась, покрыт был черными точками не укротимой и тщательным бритьем щетины. Пористый нос тянул книзу большую лобастую голову. Елена следила за движениями бескровного пальца и вдруг - зачем-то, непонятно - коснулась ладонью шершавой щеки. Он вздрогнул, отпрянул, чуть не подпрыгнул на стуле. Глаза его с желтоватыми белками наполнило до краев смятение. Мольба! Елена, откинувшись на спинку своего стула, беззвучно, не разжимая губ, засмеялась.

На переэкзаменовке ей натянули проходной балл и сделали вид, что не заметили, когда у нее вдруг поехали из-под чулок шпаргалки. Мать взяла ее с собой к морю отдыхать. Отчим поехать не смог, ему перенесли отпуск. С обязательной жареной курицей, яйцами, сваренными вкрутую, бутылками теплой минеральной воды они втиснулись в вагон. Двое военных вышли из купе - из деликатности. Подтянувшись, подпрыгнув легко, Елена влезла на верхнюю полку. В школе тренер вызвал мать и сказал, что советует определить дочь в баскетбольную секцию. Мать возгорелась, Елена же сказала, что тренировки слишком частые. Англичанка тоже советовала... И учительница пеня предложила, но Елена, тупо, упрямо глядя на мать, пробурчала, что и с обычной программой еле справляется - куда ей! Мать выслушала, не спуская с дочери цепкого взора: «Послушай, - сказала она, - станешь человеком-личностью, и многое тебе простится, пойми. Иначе... - она помолчала. - Даже любимой, только любимой, жить трудно. Небезопасно и... унижительно. - Вздохнула. - Да и не получится это у тебя».

Елена моргнула. Когда мать с ней так разговаривала, она терялась. Проще было всему сопротивляться, против всего бунтовать. Они долго, томительно ехали. Мать выскакивала на полустанках, носилась по перрону в халате с оборками, приглядываясь, прицениваясь, за сколько что продают. Приносила в газетном кулечке малосольные огурцы, Елена с хрустом надкусывала. И иной раз ловила на себе материн взгляд, беспомощный и удовлетворенный. Их соседи, военные, от деликатности краснели, потели, выходили в коридор покурить, а возвращаясь, присаживались рядышком на край койки. Мама улыбалась оживленно и хмурилась. Елена грызла куриную ножку и вытирала незаметно пальцы о край простыни. Мелькнуло море. Впервые брызнуло при повороте за железнодорожным мостом, и нельзя было ошибиться, спутать эту